

Алёна Мельникова

СВЕКРОВЬ В ДОЛЕ

Пятьдесят тысяч тюльпанов



Алена Мельникова

**Свекровь в доле. Пятьдесят
тысяч тюльпанов**

«Автор»

2026

Мельникова А.

Свекровь в доле. Пятьдесят тысяч тюльпанов / А. Мельникова — «Автор», 2026

Муж объявил о разводе за ужином: квартиру делим, дачу продаём под мойку его будущему тестю. Свекровь сказала ему одно: «Игорь. Сядь». А наутро предложила мне половину дома и теплицу, которую строил её покойный муж. Мне сорок четыре. Я агроном, два года как сокращена. Если посчитать правильно, к Восьмому марта эта теплица даст пятьдесят тысяч тюльпанов. Если неправильно — я буду должна всем, включая свекровь. Бывший муж подаёт в суд на собственную мать. Его невеста демпингует голландскими тюльпанами. Сеть может отказаться от договора в любой день. А сосед с тремя рефрижераторами берёт деньги строго по тарифу, всё записывает в тетрадь — и почему-то приходит каждый вечер в шесть. Взрослые герои, своё дело и любовь, которая начинается со слова «сколько». 16+. Однотомник, закрытый финал.

© Мельникова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	18
Глава 5	22
Глава 6	26
Глава 7	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Алена Мельникова

Свекровь в доле. Пятьдесят тысяч тюльпанов

Глава 1

Луковицы я перебирала в сених, на газете, при лампочке в сорок ватт. В теплице в ноябре делать нечего, а в городе я и так сидела второй год.

Прошлогодние. Триста штук, которые я не стала выгонять в феврале, потому что Игорь сказал, что к восьмому у нас гости и ему «не хочется, чтобы в доме пахло подвалом». Я тогда убрала их в «ЗИЛ» — холодильник старше меня, который стоял в сених и морозил исправнее нового, — и забыла на девять месяцев. На выгонку они уже негодились, на выброс — жалко: я перебирала их на пробу, посмотреть, что осталось живого. Большинство были плотные, в сухой коричневой рубашке, донце чистое; примерно каждую десятую я откладывала в ведро — мягкие в основании, с белёсым налётом, со сладковатым запахом гнили. Такие нельзя оставлять рядом со здоровыми: гниль портит соседей раньше, чем её видно, поэтому ведро я потом вынесу в сарай.

Машина подъехала, когда я была на второй сотне.

Я узнала её по тому, как хлопнула дверь. Игорь всегда закрывал дверь машины так, будто ставил точку. Двадцать лет я слышала эту точку из кухни и знала: пришёл, сейчас скажет «ну что у нас», сейчас снимет ботинки, не развязывая.

— Ты здесь, — сказал он с порога, без вопроса в голосе.

— Здесь.

Он сел на табурет у двери, не снимая куртки. Куртка была новая, тёмно-синяя, с кожаной планкой на молнии, какие он сам никогда не покупал. Я это увидела и продолжила перебирать.

— Лен. Давай по-взрослому.

Я положила луковицу в ведро. Взяла следующую. Плотная.

— Давай.

— Я уйду. Это решено, это не обсуждается, и я не хочу, чтобы мы тут устраивали... — он поискал слово, — сцены. Квартиру делим пополам, как положено. Машина твоя. Дача — мамина, но мы с ней поговорили, она согласна продать, Севрюгин даёт хорошие деньги под мойку, с этого мы закроем всё, что надо закрыть, и каждый начнёт с чистого листа. Ты меня слышала?

Я его слышала. Я слышала «мы с ней поговорили» и «Севрюгин» и поняла, что тот, кто говорил с его матерью, — не он, потому что если бы Галина Аркадьевна согласилась продать теплицу, которую ей строил муж, она бы сказала мне об этом сама. Первой. Она всегда говорила мне всё первой.

— К кому? — спросила я.

Надо было спросить про квартиру, про Дашу, с какого числа. Спросила это.

— Это неважно.

— Важно. Куртка новая. Тебе её выбирали.

Он помолчал. Потом сказал имя, которого я не знала, и фамилию, которую знала: Севрюгина. И я засмеялась, потому что всё сошлось, как сходится, когда наконец находишь, откуда в теплице сквозняк.

— Лен.

— Ничего. Я считаю.

Я действительно считала — как раз дошла до последней. Двести семьдесят две здоровых. Двадцать восемь в ведре. Двести семьдесят две без видимой гнили — что у них внутри, покажет только нож, и в товарную партию я их всё равно не возьму. Но живые.

— Мы продадим дачу, — повторил он. — Это решено.

— Это не тебе решать, Игорь, — сказали у него за спиной.

Галина Аркадьевна стояла в дверях из комнаты, в кофте, с карандашом за ухом, и я не знала, сколько она там стояла. По её лицу этого никогда нельзя было узнать. Сорок один год в школе — она умела стоять в дверях класса так, что класс понимал всё без слов.

— Мам, — сказал Игорь и встал. — Мы же договорились.

— Мы не договаривались. Ты мне сообщил. Это разные вещи, я тебе объясняла это в седьмом классе. — Она прошла мимо него к столу и заглянула в ведро. — Сколько?

— Двести семьдесят две.

— Мало.

— Для чего мало?

Она не ответила. Она взяла карандаш из-за уха, придвинула к себе газету с краю, где не было луковиц, и написала на полях две цифры. Я не видела какие. Потом повернулась к сыну.

— Игорь. Сядь.

Он сел.

* * *

Разговор был короткий. Она придвинула табурет и села напротив сына, колени к коленям, как сажала у доски тех, кто не выучил.

— Севрюгин, — сказала она. — Виктор Палыч. Который у меня в восемьдесят пятом в десятом «Б» сидел и списывал у Раисы Нигматуллиной контрольные. Теперь он застройщик, у него дочь, и ты на ней женишься. Это дано. Правильно я излагаю?

— Мам, при чём здесь...

— При том, что он даёт «хорошие деньги под мойку» не потому, что ему нужна мойка. Ему нужна улица. Он скупает её с того конца уже год, Нина Сергеевна рассказывала, а Нина Сергеевна рассказывает всё, что знает, и половину того, чего не знает. Он купит дачу, а мойки не будет. Будет склад. Он тебе это сказал?

Игорь молчал. Я перебирала луковицы и смотрела в газету. На него смотреть было незачем: я и так знала, что он сейчас ищет, что ответить, и не находит.

— Не сказал, — заключила Галина Аркадьевна. — Следовательно, он тебе и не скажет. Теперь второе. Теплицу строил твой отец. Три года строил, после работы, с Витькой-сварщиком, который потом спился, царствие ему небесное. Я в ней двадцать лет огурцы сажала, Лена — десять лет тюльпаны. Ты в ней был четыре раза, я считала. Это не твоё, Игорь. Это моё. И я этого не продаю.

— Мам, это же просто дача. Тебе семьдесят почти, тебе тяжело.

— Мне шестьдесят девять. Мне тяжело слушать, как ты говоришь «просто». — Она сняла карандаш с газеты и положила его обратно за ухо. — Иди. Ты всё сказал, что хотел, Лена тебя услышала, я тоже. Про квартиру — через юриста, не через меня. Про Дашу — сам, лично, не по телефону и не голосовым. Про дачу — больше никогда.

Он встал. У двери обернулся к ней.

— Ты всегда её любила больше.

— Я вас любила одинаково, — сказала Галина Аркадьевна. — Просто она не разочаровывает.

Дверь машины хлопнула, как всегда.

* * *

Мы остались вдвоём в сенях с ведром и газетой, и минуту никто ничего не говорил. Лампочка жужжала. За стеной, в комнате, тикали часы, которые Николай Иванович привёз из Германии в восемьдесят девятом и которые с тех пор спешили на четыре минуты в сутки. Подводили их по субботам, а в остальные дни все в доме умели отнимать от них по четыре минуты на каждый день после субботы.

— Ты знала? — спросила я.

— Про Севрюгину — нет. Про то, что уходит, — месяц. Мать всегда знает, когда сын врёт, Лена. У него голос становится казённый. — Она села на табурет, с которого он встал, и посмотрела на меня снизу вверх. — Ты как?

— Нормально.

— Это не ответ, это предположение.

Я положила луковицу — здоровую — в правую кучку и посмотрела на свои руки. Руки были в сухой шелухе и земле, и они не дрожали. Я отметила это и обрадовалась, как радовалась на комбинате, когда рассада после пересадки держала тургор. Двадцать лет. Я ждала, что сейчас что-то случится — заплачу, или закричу, или мне станет плохо, — и ничего не случилось, только внутри было очень тихо и очень ясно, как в теплице в шесть утра, когда ещё не включили вентиляцию.

— Я два года ждала, — сказала я. — Чего-нибудь. Что он скажет: Лен, пойдём работать вместе, или: Лен, давай купим тебе теплицу побольше, или хотя бы: Лен, ты чего дома сидишь. Он говорил «твоя клумба». Два года. Галина Аркадьевна, я главным технологом блока была. У меня двенадцать гектаров огурца под стеклом было. Я знала, какой у меня тургор на восьмидесятом ряду, не выходя из кабинета, по датчикам. А он — «клумба».

— Я знаю, Лена.

— Я не плачу.

— Вижу.

— Я просто говорю, что он — «клумба».

— Он сказал «клумба», потому что не знает, что такое гектар, — сказала она. — Дефект его, а ты за него краснеешь. У меня таких полкласса было каждый год: не понимает — обесценивает. Я их учила делить дроби. Некоторые научились. — Она встала. — Пойдём в дом. Холодно. Луковицы никуда не денутся, они двадцать восемь штук уже и так потеряли.

* * *

Вечером я пошла в теплицу.

Просто пошла, с фонарём, в старой ватной куртке Игоря с гвоздя в сенях, потому что моя осенняя, в которой я приехала, для ночной теплицы не годилась, а зимняя осталась в городе, в прихожей квартиры, которую теперь делят пополам. В теплице было четыре градуса. Котёл стоял — мы его не топили с марта, зачем, — и поликарбонат над головой был чёрный, в инее изнутри, и столы стояли пустые, два ряда вдоль прохода, восемь метров на тридцать шесть, и пахло холодным железом и прошлогодним торфом.

Я прошла по центральному проходу до конца и назад и сосчитала шаги, потому что считать было привычнее, чем думать. Сорок восемь туда, сорок восемь обратно. Тридцать шесть метров. Столы с двух сторон, под ними — почти двести квадратных метров, лоток на иглах шестьдесят на сорок, в лоток — восемьдесят луковиц разбора двенадцать плюс. Я стояла посреди прохода и считала лотки, как считала десять лет: пять тысяч штук — это шестьдесят с лишним лотков, это метров пятнадцать стола в тёплом торце за плёнкой, это «клумба», это две

недели возни в феврале и тысяч сто чистыми к Восьмому марта, если не считать собственных рук. Игорь их и не считал.

А если все столы. От двери до торца. В три волны с разницей в несколько дней, потому что срезку нельзя уложить в один день: укоренять в холоде одну волну, пока другая стоит в тепле.

Я посчитала. Потом посчитала ещё раз, потому что цифра вышла такая, какую я десять лет не позволяла себе считать.

Пятьдесят тысяч луковиц. Больше миллиона только закупка. Плюс лотки: у меня шестьдесят, а надо шестьсот с лишним. Плюс пеллеты — тонн двадцать, я не помнила точно и разозлилась на себя, что не помню. Плюс руки: одна я пятьдесят тысяч не наколю и не срежу, хоть умри. Плюс холод. Пять тысяч я укореняла в «ЗИЛе» и на веранде, а пятьдесят — это сто ящиков при плюс пяти, и такой камеры у нас нет и не было никогда.

Я стояла в холодной теплице и считала, и пока считала, не думала о квартире.

За забором, на базе, завёлся рефрижератор: сначала дизель, потом, через минуту, высокий вой холодильной установки. Сквозь мутный поликарбонат было видно, как вдоль кузова идёт фонарь — от кабины к задним дверям. Напротив моей теплицы фонарь остановился и постоял. Свой я гасить не стала. Глупо прятаться в собственной теплице.

Фонарь пошёл дальше и погас у задних дверей.

Сосед. Семь лет через забор, и я знала про него три вещи: у него три рефрижератора, он не здороваётся первым и его машины никогда не глохнут на морозе — я слышала их по ночам, как часы. И у него, наверное, есть камера.

— Лена.

Галина Аркадьевна стояла в дверях теплицы, в пуховике поверх кофты, с тетрадью в клетку в руке. Той самой, в которую она двадцать лет записывала по утрам два термометра, уличный и тепличный, потому что не доверяла ни одному по отдельности.

— Вы замёрзнете.

— Я замёрзну, а ты уже. Иди сюда.

Я подошла. Она раскрыла тетрадь на последней исписанной странице и повернула ко мне. Там, под сегодняшним числом и утренней температурой («минус два, ясно»), её ровным учительским почерком было написано:

Дано: теплица 288 м², столы с двух сторон. Луковица разбора 12+ — около 25 р. Опт на 8 марта — 60–70 р. Найти: сколько штук надо, чтобы это была не клумба.

И ниже, её рукой, ответ: 20 000.

— Вы это когда написали?

— Днём, при нём. На газете прикинула, а потом переписала. — Она закрыла тетрадь. — Я не агроном, Лена. Я учитель математики. Делить и умножать я умею лучше, чем мой сын, и я умею читать твоё лицо, когда ты смотришь на пустые столы. Ты десять лет смотришь на них так каждый ноябрь. Сколько у тебя вышло?

— Пятьдесят.

Она помолчала. Открыла тетрадь снова, посмотрела на свою цифру и зачеркнула её одной чертой.

— А я насчитала двадцать. Ну, ты главный технолог, тебе виднее. — И дописала рядом: 50 000 (Лена). — Это сколько только луковицы?

— Больше миллиона. И камера на сто ящиков, которой у нас нет. Есть только за забором.

— Я так и думала, что будет много.

— У меня на счету сто двенадцать.

— Я знаю. Я не спрашивала, но я знаю, у тебя всё на лице. — Она сунула тетрадь под мышку и посмотрела на пустые столы, как на доску с задачей. — Пойдём в дом. Я поставлю чайник, а ты мне объяснишь, что такое «выгонка на воде», «разбор двенадцать плюс» и почему

тебе нужен сосед с холодильником. По пунктам. Я буду записывать. А потом я скажу тебе, что я решила насчёт дачи, и ты будешь слушать, а не спорить. Договорились?

Я хотела сказать, что ничего не решено, что я просто считала, что это невозможно, что у меня нет машины — то есть есть, но это всё, что у меня есть, — и что я не могу брать у неё деньги, потому что это её деньги, и это не моя дача, и я ей скоро буду никто, если по документам.

— Договорились, — сказала я.

Она кивнула и пошла к дому. Я выключила фонарь и в темноте вспомнила газету в сенях. Цифр на полях было две. Двадцать тысяч она переписала в тетрадь.

Вторую — нет.

Глава 2

Чайник она поставила, но налила коньяк — из бутылки, которую Николай Иванович купил к какому-то юбилею и не дожил, — по полрюмки, себе и мне, и села напротив с тетрадью.

— По пунктам, — сказала она. — Что такое выгонка на воде.

— Лоток с иглами. На иглы накальываешь луковицу, в лоток наливаешь раствор, корни идут в воду. Без земли, без торфа, стебли потом не отмывать...

— Это лирика. Сроки.

— Сначала холод. Недель пятнадцать при плюс пяти, иначе цветка не будет. Часть холода они уже получили у Фарида — это оптовик, я у него третий год беру, — он охлаждает с середины октября. Остальное добирать нам.

— Где?

— В камере. Которой нет. Потом укоренение, там же, недели две. Потом тепло, семнадцать днём, четырнадцать ночью, и недели через три бутон окрашивается. Встаёт на карандаш.

— На что встаёт?

— На карандаш. — Я показала на тот, что у неё за ухом. — Бутон длинный, твёрдый и уже цветной. Тогда и режут. Раскрытый никто не купит. И срезку держать сухой при плюс двух, а у нас при плюс двух только веранда, и то не каждую ночь.

Она записала: «Камера — нет. Веранда — не каждую ночь». Остальное пропустила, как пропускала в контрольных всё, что не по делу.

— Разбор двенадцать плюс.

— Окружность луковицы. Двенадцать сантиметров и больше. Чем крупнее, тем надёжнее цветок. Мельче — дешевле, их тоже гонят, но там надо подбирать сорт и срок, а я под воду беру двенадцать плюс, под качество.

— Двадцать пять рублей — это откуда?

— Прошлой зимой было двадцать два у Фарида на оптовке, голландские, в ящиках по пятьсот. От пятидесяти тысяч он скинет. Сейчас — не знаю. Курс.

— Значит, двадцать пять — это предположение.

— Это оценка.

— Запиши «оценка». — Она записала сама. — Теперь сосед.

Я рассказала про соседа. Что за забором, на месте совхозного гаража, лет семь как база: три рефрижератора, мастерская, два водителя. Что хозяина зовут Константин, фамилию я не знаю, что он возит молочку и рыбу по области, а в сезон — цветы, те самые голландские, из Москвы для городских магазинов. Что у него, скорее всего, есть камера: не перегружают же они рыбу прямо из машины в машину на морозе. Хотя, может, и перегружают, я не знала. Что я с ним за семь лет говорила дважды, и оба раза о том, что его «Газель» стоит поперёк нашего выезда.

— А он что?

— Переставлял. Молча. Второй раз сказал: «Поставьте знак, что у вас тут движение».

— Остроумный, — сказала Галина Аркадьевна ровно, как сообщают, что число делится на три. — Берестов его фамилия. Константин Берестов. Я проверяла по кадастру, когда Севрюгин начал скупать улицу: хотела знать, кто мои соседи и кто из них уже продан. Он — нет. Пока.

— Вы проверяли соседей по кадастру?

— Лена. Я проверяла переходы прав по улице. Это открытые данные, а фамилии мне сказали соседи.

Я выпила свои полрюмки. Коньяк был старый и тёплый, и от него в горле стало горячо, а в голове — яснее, чем мне хотелось бы.

— Теперь я, — сказала она и закрыла тетрадь.

* * *

Она говорила минут десять, и я ни разу не перебила: перебивать её, когда она диктовала условие, было невозможно.

Дача — её. Дом, двенадцать соток, теплица, сарай, всё оформлено на неё одну после смерти Николая Ивановича, выписка свежая, она заказывала в сентябре, когда поняла, к чему идёт. Игорь — единственный наследник, и он это знает, и поэтому считает дачу своей уже сейчас, авансом, и поэтому говорит с Севрюгиным, не спросив. Это раз.

Продавать она не будет. Память — да, но главное, она посчитала: Севрюгин даёт за участок столько, сколько стоит участок без теплицы, а теплица с котлом и стеллажами стоила Николаю три года и ей — все отпускные за те же три года, и дарить это Севрюгину под склад она не намерена. Это два.

Три. Если она ничего не сделает, то через год или через пять дача всё равно станет Игоревой, а значит, Севрюгинской, а значит, складом. И Лена к тому времени будет работать в садовом центре консультантом за тридцать две тысячи, и каждый ноябрь будет смотреть на чужие пустые стеллажи.

— Поэтому я решила так, — сказала она и положила на клеёнку газету из сеней, сложенную полями вверх. Рядом с двадцатью тысячами там стояло «½». — Половину я дарю тебе. Всего: земли и дома. Я узнавала: землю без дома подарить нельзя, они ходят вместе. Половину дома и половину земли, на которой стоит теплица. Нотариус в среду, я записалась на одиннадцать. Ты становишься собственником, Игорь — не становится, Севрюгин — тем более. И тогда то, что ты насчитала в теплице шагами, перестаёт быть «клумбой на даче у свекрови» и становится твоим делом на твоей земле. На половине земли.

— Нет, — сказала я.

— Я не спрашивала.

— Галина Аркадьевна. Нет. Это ваша дача. Это Дашино наследство, в конце концов, она же внучка, она...

— Даше я оставляю свою половину. По завещанию, которое тоже в среду, у того же нотариуса. Дарю тебе — половину, завещаю внучке — половину. Игорю не достанется ничего, и это единственное, что в этой задаче справедливо. — Она подняла ладонь, потому что я открыла рот. — Ты думаешь, я это делаю из-за него. Назло. Я учитель, Лена, я делаю по условию задачи. Условие такое: у меня есть теплица, которая стоит полтора миллиона и которую я не могу использовать, потому что мне шестьдесят девять и у меня спина. У тебя есть руки, голова и десять лет опыта, и нет земли. У Игоря есть должность, новая куртка и Севрюгин. Найти: кому отдать теплицу, чтобы она работала. Это задача на один ход.

— Вы сейчас дали бы мне деньги в долг, и я бы...

— Не дала бы. В долг я не даю никому, я из школы, у нас так не принято. Я даю долю. Половина — твоя, и всё, что ты на ней вырастишь, — твоё. А кто чем пользуется — напишем соглашение, Алла скажет как; доля — это не забор посередине, это право. Это инвестиция, Лена. Я посчитала.

Я сидела и смотрела на тетрадь, закрытую, с карандашом поверх, и на свои руки на клеёнке, и понимала, что сейчас откажусь от того, что мне дают. Хотеть я хотела. Быть должной — не могла. Игорю я была должна двадцать лет — квартирой, которую он «нам сделал», машиной, которую «тебе купили», должностью, которую «ну ты же не содержишь семью». Я два года жила на его деньги и слышала «клумба». Брать теперь у его матери — это было как пересесть с одного стула на другой в той же комнате.

— Я не могу, — сказала я.

— Можешь. Ты не хочешь быть должной. Это разное. — Она встала и убрала бутылку в буфет. — Иди спать. Я постелила тебе в Дашиной. Утром посчитаешь ещё раз, на свежую голову, и скажешь мне «сколько». Сколько луковиц, сколько денег, сколько рук и сколько дней. Тогда и поговорим.

* * *

В Дашиной комнате я не спала.

Лежала под её старым одеялом с совятами и считала дни. Деньги я посчитала ещё в теплице, и они не сходились никак, с дарственной или без, а дни хотя бы сходились.

Сегодня двенадцатое ноября. Восьмое марта — через сто шестнадцать дней. Срезка должна идти с конца февраля по седьмое, потому что восьмого уже никто не покупает оптом, восьмого покупают розницу у метро. Значит, последняя волна должна встать на карандаш к пятому. От наколки до карандаша — две недели в холоде плюс три с лишним в тепле, дней тридцать пять — сорок, точнее скажет сорт и Фарид, у которого программа. Значит, третью волну колоть числа двадцать восьмого, не позже. Вторую — двадцать четвёртого. Первую — двадцатого, и пробную — тысячи две из тех же пятидесяти, на четырнадцатое февраля, чтобы проверить сорта и цену, — сразу после праздников.

Луковицы надо заказать до декабря, пока у Фариды есть разбор двенадцать плюс под программу холода.

Камера нужна с первого декабря. Иначе луковицы, которые придут с охлаждения при пяти, пролежат в сених при чём придётся и проснутся раньше срока, и я получу пятьдесят тысяч стеблей по пятнадцать сантиметров, которые никто не купит.

Котёл надо запустить к первой наколке, значит, проверить — до Нового года, значит, пеллеты купить в декабре, пока зимняя цена не поднялась ещё на треть.

Столы стоят. Лотков нет — мои шестьдесят лотков это одна «клумба», нужно ещё без малого шестьсот, по триста рублей, это сто семьдесят тысяч, только лотки. Я повернулась на другой бок.

Руки. Наколоть семнадцать тысяч луковиц за день вдвоём — это по восемь с половиной тысяч на человека, по тысяче в час, по луковице в три с половиной секунды, восемь часов без перерыва. Одной — невозможно. С Галиной Аркадьевной и её спиной — невозможно. Нужен кто-то с руками и без работы, и такие в Сосновке были, Серёга Полозов через два дома, например, который варил ворота половине улицы, пока его СТО не закрыли.

Я заметила, что считаю уже, кого нанять, и села на кровати.

За окном было темно и тихо. Сосновка зимой — это десять домов, где живут круглый год, и тридцать, где не живут, и от этого ночью слышно каждую машину на шоссе за два километра. Я слышала шоссе. И ещё я слышала, как за забором, на базе, работает что-то ровное, с низким гулом, — холодильная установка на одном из рефов, которую он не глушил на ночь, потому что в кузове что-то было, что нельзя было разморозить.

Два градуса, подумала я. У него там сейчас, наверное, градуса два, в сухом кузове, и это то, чего мне не хватает для пятидесяти тысяч стеблей в первую неделю марта.

Я легла обратно. Совята на одеяле смотрели в потолок. Я сказала им вслух, тихо, чтобы не разбудить Галину Аркадьевну за стеной:

— Это невозможно.

И тут же поняла, что говорю это тем же тоном, каким говорила на комбинате, когда мне спускали план по огурцу на ноябрь, — уже прикидывая, какие ряды пустить первыми.

* * *

Утром я вышла во двор в семь, в куртке Игоря, с кружкой, и первое, что увидела, — зад белой «Газели» с рефрижераторной будкой, который стоял поперёк нашего выезда так, что между ним и нашим забором можно было протиснуться только боком. Двигатель работал. Холодильник на будке гудел. В кабине никого не было.

Я поставила кружку на столб и пошла к калитке, потом вдоль забора, по тропинке в инее, к воротам базы, которые были открыты, и вошла.

База была — бетонный двор, два гаражных бокса с поднятыми воротами, свет внутри, запах солянки и чего-то холодного и рыбного. Второй реф стоял в боксе с открытым кузовом, и мужчина в тёмной куртке без шапки стоял спиной ко мне внутри кузова и что-то делал с термометром на стенке. Высокий, седой коротко, плечи тяжёлые. Я его видела до этого дважды и оба раза со спины: он разговаривал со спиной.

— Константин, — сказала я.

Он глянул через плечо. Лицо у него было занятое: в семь утра он явно работал уже часа два.

— Ваша «Газель» стоит поперёк моего выезда.

— Знаю. Витя бокс освобождает, ей встать некуда. Десять минут.

— Вчера тоже было десять минут.

— Вчера был другой рейс. — Он спрыгнул из кузова, отряхнул ладони и впервые повернулся ко мне лицом. — Вы куда-то едете в семь утра?

Я никуда не ехала. У меня не было ни одного дела в семь утра, кроме того, которое я насчитала ночью под одеялом с совятами и которое не могла произнести вслух, потому что оно начиналось со слов «мне нужна ваша камера».

— Это неважно, — сказала я. — Выезд должен быть свободен.

— Договорились. — Он сказал это так, будто это и был ответ, и крикнул в глубину бокса: — Витя! Отгони.

Из-за угла бокса вышел Витя — маленький, в ватнике, с ключами, — буркнул «агрономша, здрасьте» и пошёл к «Газели». Больше она поперёк нашего выезда не вставала ни разу: разгружаться стали с другой стороны бокса.

Константин повернулся к кузову. На стенке кузова под термометром висел бумажный лист с графиком — температура по часам, от руки, столбиком, как я сама писала десять лет в тетради. Я смотрела на этот лист дольше, чем нужно, и он это заметил.

— В семь утра в чужой куртке за выездом не приходят, — сказал он в термометр. — Что вам надо, соседка?

— Ничего.

— Тогда так. Если вы что-то затеваете в теплице — считайте на один сезон. Через год этой улицы не будет.

Я развернулась и пошла к воротам. Выезд был свободен, можно было ехать в город за зимними вещами и своей тетрадью, пока Игорь не вывез мои коробки вместе со своими. У ворот я остановилась, потому что «через год» не было похоже на слова Нины Сергеевны. Это была цифра.

— Откуда вы знаете про год?

Он не ответил. Записал в лист на стенке следующую строчку и не обернулся.

Глава 3

«Сколько» я сказала ей в понедельник, за завтраком, со своей тетрадью — той, в которой десять лет писала даты наколки и температуру и которую в пятницу привезла из города вместе с зимними вещами. Я положила её между чашками, открыла на странице, где три ночи сходилась и не сходилась столбик, и повернула к ней.

Внизу столбика стояло: почти миллион восемьсот известных расходов, и это без котла, камеры, упаковки и света. Выше — то, что я проверила за выходные, а не вспомнила: цену пеллет на складе, цену лотков, «сорок в месяц» для Серёги Полозова, который сидел без работы с лета. Два пункта были «неизвестно»: котёл, пока его не посмотрит кто-нибудь, кто понимает в пеллетных, и камера, потому что у Берестова я ещё не спрашивала.

— У меня сто двенадцать, — сказала я. — Машина — тысяч пятьсот шестьдесят, если быстро. Четыреста предварительно одобрил банк в приложении, под двадцать четыре, — предварительно, без работы могут и передумать. Половину стоимости луковиц Фарид, может быть, разрешит отдать после Восьмого, он так делает с теми, кого знает десять лет, но столько у него ещё никто не брал. Остаётся дыра. Если Фарид откажет — семьсот с лишним. Если согласится — около ста, и это без котла и камеры.

— Четыреста двадцать, — сказала она. — У меня.

— Я возьму. — Я сказала это раньше, чем она успела дописать свою строчку, и взяла ручку сама. — На одном условии. Это доля, а не подарок. Когда продам — верну четыреста двадцать и тридцать процентов от того, что останется сверху. И половину дома я беру тоже на этом условии: если дело не пойдёт, вы вправе потребовать её обратно, и я подпишу. Иначе к нотариусу не поеду.

Она смотрела, как я пишу: «Возврат 420 000 + 30 % прибыли — Г. А.». Потом взяла ручку и дописала ниже своей рукой: «Половину дома обратно не возьму. Г. А.».

— Про дом ты сказала глупость, но я её записала, чтобы ты видела, что я с ней не согласна. Про тридцать процентов — умно. Я бы попросила двадцать пять.

— А если не продам?

— Тогда у тебя будет пятьдесят тысяч тюльпанов, а у меня — опыт. Я сорок один год покупала опыт за свои деньги, Лена, мне не привыкать. — Она отодвинула чашку. — Алле позвони сегодня. К нотариусу мы записаны на среду, но я не хочу, чтобы мы сидели у неё, как две дуры, и не знали, что подписываем.

* * *

Алла Тюрина сняла трубку на втором гудке и сказала: «Савельева, если ты звонишь мне в рабочее время, значит, тебя либо бросили, либо уволили, либо и то и другое», — и я сказала, что первое, и она сказала: «Наконец-то», — и это было единственное сочувствие, которое я от неё получила за весь разговор, и единственное, которое я могла бы выдержать.

Мы жили в одной комнате в общежитии на Лиственничной пять лет. Она — на юрфаке, я — на агрономическом, и уже тогда она умела за пять минут объяснить, почему то, что ты собираешься сделать, не работает, и за следующие пять — как сделать, чтобы сработало.

— Нотариус обязателен, — сказала она. — Долю в доме и земле дарят только через нотариуса, зато он сам всё отправит в Росреестр, через пару дней у тебя выписка. Согласие Игоря не нужно: он не собственник, он сын. Межевание у участка есть?

— Николай Иванович делал. Лет восемь назад.

— Хорошо. Теперь плохое. Ты ей не дочь.

— Я знаю.

— Я про налог, Лена. Подарок от близкого родственника налогом не облагается. Невестка — не близкий родственник, хоть вы с ней двадцать лет в одной кухне. Значит, тринадцать процентов от кадастровой стоимости половины дома и половины земли ты заплатишь государству до пятнадцатого июля следующего года. Какой у них кадастр?

Я не знала. Галина Аркадьевна знала: два миллиона четыреста за всё, она смотрела, когда заказывала выписку. Я сказала.

— Значит, сто пятьдесят шесть тысяч. Плюс-минус. Готовь.

Я молчала. Сто пятьдесят шесть тысяч — это были ещё шесть тысяч луковиц, которых у меня не будет.

— Лен. Это нормальная цена за полдома и полземли, которые тебе достаются даром. Подарок, с которого надо заплатить налог, всё равно подарок. И ещё. Подарок при разводе не делится, Игорю с него ничего не положено. Но не тяни. Чем дольше тянете, тем больше у него времени начать мешать.

— Как мешать?

— По-разному. Он у тебя чиновник, у него друзья чиновники. Запишите меня на среду тоже, я приеду. Не для нотариуса — для вас. Хочу посмотреть на твою свекровь.

Во вторник, между Аллой и нотариусом, я сделала одну вещь, которую не записала в тетрадь. Вынесла из сених коробку из «ЗИЛа» — двести семьдесят две прошлогодние луковицы — и прикопала их за теплицей, на грядке, где Николай Иванович сажал чеснок, под торф и лапник. Земля ещё не схватилась. На выгонку они не годились. Выбросить живое я не смогла, а объяснять, зачем сажаю то, что не продашь, было некому.

Когда я разравнивала лапник, за забором хлопнула дверь кабины. Берестов стоял у большого рефа с путевым листом и смотрел вверх забора — на грядку, на пустую коробку, на лопату.

— В ноябре сажают, — сказал он. Не спросил.

— Прошлогодние. Выбросить жалко.

Он кивнул, как кивают на понятный ответ, и полез в кабину. Потом опустил стекло.

— У вас в теплице до часу ночи свет горел. Все выходные.

— Я считала.

— Видно было, — сказал он и уехал.

Про камеру я так и не спросила. Не с лопатой же в руках.

* * *

Нотариус была женщина лет пятидесяти с короткой стрижкой и голосом, который не повышался и не понижался, как у диспетчера. Кабинет на втором этаже бывшего Дома быта, в котором на первом теперь был ломбард, а на третьем — йога. Галина Аркадьевна пришла в пальто, которое надевала на выпускные, и с тетрадью. Алла — в чёрном, с папкой — села в угол, как в суде садятся те, кто пришёл смотреть.

Нотариус читала вслух: Савельева Галина Аркадьевна дарит Савельевой Елене Викторовне одну вторую долю дома в шестьдесят четыре квадратных метра и одну вторую долю участка в двенадцать соток, ИЖС, обременений нет, дееспособность сторон проверена.

На слове «дееспособность» Галина Аркадьевна подняла голову, и нотариус, не меняя голоса, спросила:

— Галина Аркадьевна, вы понимаете, что после подписания вы не сможете отменить дарение по своему желанию? Что половина дома и участка перейдёт к одаряемой безвозвратно?

— Понимаю.

— Вы делаете это добровольно, без давления, не под влиянием заблуждения?

— Добровольно. Я подумала месяц, если это имеет значение.

— Имеет. — Нотариус перевернула страницу.

— Одаряемая. Елена Викторовна, вы в курсе, что не являетесь близким родственником дарителя в смысле налогового законодательства и что с полученного имущества вам надлежит уплатить налог на доходы физических лиц?

— В курсе. Сто пятьдесят шесть тысяч.

— Примерно. Срок — до пятнадцатого июля двадцать седьмого года.

— Заработаем и заплатим, — сказала Галина Аркадьевна в тетрадь.

Нотариус не стала спрашивать, на чём. Она дала подписать — сначала ей, потом мне, — и я подписалась своей обычной подписью, той, которой двадцать лет подписывала акты приёмки, и смотрела, как чернила ложатся на «Савельева Е. В.».

Потом нас с Аллой попросили выйти: завешание нотариус удостоверяет без посторонних. Галина Аркадьевна вышла через десять минут, сказала, что оставила свою половину Даше, и что нотариус была точна, и больше про завешание не говорила ни слова.

На улице шёл мокрый снег. Галина Аркадьевна застегнула пальто не на те пуговицы и не заметила. Я перестегнула. Она позволила и пошла к моей «Шкоде». Алла закурила у крыльца и сказала мне тихо, когда свекровь отошла к машине:

— Твоя свекровь — лучшее, что ты вынесла из этого брака.

— Я знаю, — сказала я и тут же подумала про Дашу. Даша — не «вынесла», Даша — другое. Поправлять Аллу я не стала.

— Я приехала смотреть на неё, а не на нотариуса. — Она затянулась. — К сделке я оснований придаться не вижу, я бы сама так сделала. Бить он будет по ней.

— Как?

— Как бьют по шестидесятидевятилетней женщине, которая подарила полдома невестке, а не сыну. — Алла бросила окурок в урну. — Готовь свекровь к психиатру.

* * *

Вечером Галина Аркадьевна позвонила сыну сама и сказала ему, что подарила половину дома и земли Лене, сегодня, у нотариуса, и что сообщает это ему, чтобы он узнал от неё, а не из выписки. Разговор занял полторы минуты. Потом она села проверять тетради, которые ей до сих пор носили соседские дети.

Даша прислала голосовое в половине седьмого, четыре минуты одиннадцать секунд, и я слушала его на веранде, в куртке, потому что не хотела, чтобы Галина Аркадьевна слышала, как её внучка говорит обо мне.

Даша говорила быстро и начала с середины фразы — записывала не первый раз и отправила какой есть. Что папа звонил. Что он всё рассказал. Что она не понимает, зачем бабушка так, это же её сын, это же некрасиво, мам, ну ты же сама понимаешь, как это выглядит со стороны: он уходит, а вы с бабушкой в тот же день переписываете на тебя дачу. Что она не говорит, что папа прав, она вообще никого не осуждает, она просто. Что ты, мам, сама его запустила, ты два года сидела дома, он же живой человек, ты же сама говорила, что вам не о чем. Что она приедет на Новый год, если я не против, а если против — она поймёт.

Я дослушала до конца. Потом нажала «записать» и сказала то, чего говорить было нельзя:

— Даш. Я не сидела дома два года. Я два года искала работу в городе, где закрыли единственный тепличный комбинат, и ходила на собеседования к мальчикам, которые спрашивали, не собираюсь ли я в декрет в сорок четыре. Я не запустила твоего отца. Я...

Остановилась. Стёрла. Записала снова, короче:

— Даш. Я не против. Приезжай. Бабушка не переписывала дачу в тот же день, она думала месяц. Остальное — при встрече, не голосовыми.

Отправила. Даша ответила через двадцать минут: «ок». Потом я стояла на веранде и смотрела на забор, за которым горел свет в боксе и гудел холодильник, и злилась на себя за первую запись, которую Даша не услышит, и за то, что мне хотелось, чтобы услышала.

Телефон зазвонил, когда я уже взялась за ручку двери. Рабочий номер Игоря — городской, с добавочным, с которого он звонил мне двадцать лет, чтобы сказать, что задержится.

— Ты меня подставила, — сказал он без «привет». Ровно, казённо. — Перед Виктором Павловичем. Я дал ему слово, что вопрос с участком решён, а теперь мать звонит мне и сообщает, что переписала половину на постороннего человека.

— Я не посторонний человек. Я собственник половины дома. Через день будет выписка, хочешь — пришло.

— Лена. Ты понимаешь, что мама не в себе? Ей семьдесят лет. Она подарила полдома невестке, которую сын бросил, через шесть дней после того, как сын ушёл. Любой врач скажет, что это не поступок здорового человека. Любой суд.

— Ей шестьдесят девять. И она попросила передать, что про дачу — больше никогда.

Он помолчал. Я слышала, как в его кабинете кто-то прошёл мимо и как он прикрыл трубку ладонью, и потом снова голос, тот же:

— Хорошо. Ты меня услышала, я тебя услышал. Я сделаю так, как положено по закону. Чтобы маму защитить. От тебя, от этого твоего... цветочного бизнеса, от всех. Это будет иметь последствия, Лен.

И положил трубку. Гудки.

Я вошла в дом. Галина Аркадьевна подняла голову от чужой тетради с дробями, взглянула на меня и сказала:

— Игорь.

— Игорь.

— «Защитить маму»?

— Да.

— Я так и думала. — Она поставила в чужой тетради оценку, закрыла её и положила карандаш за ухо. — Алла права.

— Вы же у машины стояли.

— Я сорок один год стояла у доски спиной к классу, Лена. Садись. Будем готовиться к психиатру. Я, в отличие от сына, люблю готовиться к экзаменам заранее.

Глава 4

Деньги со вклада Галина Аркадьевна снимала в четверг, и банк её не отпускал сорок минут.

Я сидела рядом на стуле для сопровождающих и смотрела, как девочка-операционистка в синем шарфике третий раз объясняет, что сумма крупная, что она обязана убедиться, что клиентку никто не ведёт, что мошенники сейчас работают именно с людьми её возраста и именно так: «переведите на безопасный счёт», «отдайте курьеру».

— Деточка, — сказала Галина Аркадьевна, — я вас понимаю. Я тоже всю жизнь объясняла одно и то же три раза. Теперь послушайте меня. Я снимаю четыреста двадцать тысяч, чтобы вложить их в теплицу своей невестки. Невестка сидит рядом, вот она, её зовут Елена Викторовна, она агроном. Никакого безопасного счёта. Никакого курьера. Если хотите — позвоните в вашу службу безопасности, я повторю им то же самое, только медленнее.

Девочка позвонила. Служба безопасности задала Галине Аркадьевне четыре вопроса, на которые она ответила так, что девочка в шарфике смотрела на неё с уважением, которого я давно не видела на лицах людей моложе тридцати. Потом принесли деньги. Галина Аркадьевна пересчитала их при кассире, не торопясь, пачку за пачкой, и положила в тот самый пакет из-под тетрадей, с которым ходила в магазин.

— Вы могли бы просто перевести мне на счёт, — сказала я на улице.

— Могла. Но я хотела, чтобы ты их увидела. — Она протянула мне пакет. — Это не цифра в приложении, Лена. Это четыреста двадцать тысяч, которые я откладывала с девяносто девятого, после того как в девяносто восьмом всё сгорело. Гробовые, если по-простому. Бери и неси сама.

Я несла пакет обеими руками, как носят рассаду.

* * *

«Шкоду» я выставила на Авито в тот же вечер.

Две тысячи четырнадцатого года, сто сорок тысяч пробега, один хозяин — я, — зимняя резина на дисках в гараже, не битая, не крашенная, что ещё писали в таких объявлениях, я посмотрела у других и написала так же. Пятьсот девяносто тысяч, чтобы отдать за пятьсот шестьдесят. Фотографии сделала на фоне забора базы, потому что на нашей стороне в сумерках было темно, а у Берестова горел прожектор над воротами, и машина на его бетоне выглядела чище, чем была.

Телефон начал звонить через четыре минуты.

Первые три звонка были боты с одинаковым женским голосом. Потом — мужской, быстрый: «Сестра, за четыреста двадцать забираю прямо сейчас, наличными, еду». Потом ещё один, за четыреста пятьдесят, «без торга на месте». Потом сообщение: «Здравствуйте, актуально? Готов приехать завтра, если ПТС оригинал». Потом — голос, который я узнала с первого слова, потому что слышала его утром через забор:

— Это Берестов. Вы машину продаёте?

— Продаю.

— Пятьсот девяносто — много. За пятьсот сорок уйдёт за неделю, за пятьсот шестьдесят — за две. Если вам к декабрю, ставьте пятьсот шестьдесят пять и пишите «срочно». Перекупы отвалятся, нормальный человек придёт.

Я стояла в сенях с телефоном и не знала, что сказать. Он не спросил, зачем мне к декабрю. Он сказал это как факт, который не обсуждают.

— Спасибо, — сказала я.

— Не за что. Фотографии у моих ворот — это ничего. Только в следующий раз спросите, у меня камера пишет.

И положил трубку. Я поменяла цену на пятьсот шестьдесят пять и дописала «срочно». К полуночи было одиннадцать сообщений, и два из них — от людей, которые писали полными предложениями и спрашивали про сервисную книжку.

* * *

К Фариду мы поехали в субботу — на «Шкоде», пока она ещё была моя.

Цветочная оптовка стояла на выезде из города, за кольцевой, в бывшем овощехранилище: длинный ангар, холод, запах мокрой зелени и картона, фуры у рампы, грузчики с рохлями. Фарид Гусейнов торговал здесь луковичными и срезкой двадцать лет, из них десять я приезжала к нему каждый ноябрь за пятью тысячами и каждый март — за советом, который он давал бесплатно, потому что я была не конкурент.

Он встретил нас у своего закутка с пластиковым столом и чайником, посмотрел на Галину Аркадьевну, на её пальто и тетрадь, и сказал:

— Лена, ты с проверкой?

— С инвестором.

Он засмеялся, налил чаю в стаканы с подстаканниками и сел.

— Пятьдесят тысяч, — сказала я. — Двенадцать плюс, под выгонку на воде. Четыре сорта, чтобы развести по волнам: Стронг Голд, Пёрпл Принс, Лен ван дер Марк и Ад Рем. Поставка первого декабря. Какая цена?

Фарид поставил стакан в подстаканник. Потом достал из ящика стола прайс, распечатанный на принтере, с пятнами, и положил передо мной.

— Стронг Голд — двадцать шесть шестьдесят. От пятидесяти тысяч — семь процентов. Остальные сорта — около того, Ад Рем чуть дороже. Лена, ты понимаешь, что это миллион двести?

— Понимаю. Двадцать четыре семьдесят четыре после скидки. Округлим до двадцати пяти, и вы дадите журнал.

— Какой журнал?

— Температур. Вы же держите их по программе плюс пять с середины октября. Я хочу знать, с какого числа и были ли провалы. По каждому сорту. И программу — сколько недель холода сорт хочет до наковки, когда его заносить в тепло, сколько дней до бутона при семнадцати. У вас это есть, голландцы кладут в каждую коробку.

Фарид поставил стакан.

— Ни одна цветочница у меня журнал не спрашивала, — сказал он. — Берут, что дают, потом звонят в феврале: Фарид, у меня стебель короткий, Фарид, у меня бутон слепой. А ты спрашиваешь журнал.

— Пять тысяч можно угадать. Пятьдесят — нельзя.

Он помолчал.

— Журнал будет — выгрузка по партиям, не обещаю по каждой коробке. Программа будет, с технологом ихним свяжу, если что не сойдётся. Двадцать пять — будет. Теперь слушай условия. Половину — сейчас, до отгрузки. Половину — после праздника, до пятнадцатого марта, но считаем в евро по курсу Центробанка на день платежа, потому что я сам плачу в евро: фиксирую тебе сумму в евро сегодня, отдашь рублями по курсу тогда. Столько в долг я ещё никому не давал. Тебя я знаю десять лет, ты ни разу не задержала ни рубля и первая спросила журнал. Под это я дам. Твоего инвестора — не знаю.

Галина Аркадьевна молча достала из тетради сложенный лист и положила на стол рядом с прайсом. Выписка из реестра: дом, участок, собственник. Свежая, с ноябрьской датой.

— Инвестора зовут Галина Аркадьевна Савельева, — сказала она. — Вот что у инвестора есть. Запишите нам условия на бумаге, Фарид, я люблю, когда написано.

Он записал. На обратной стороне прайса, от руки: пятьдесят тысяч, четыре сорта по двенадцать с половиной, двадцать пять рублей, шестьсот двадцать пять тысяч до тридцатого ноября, остаток — в евро по курсу на день, до пятнадцатого марта, журнал и программа — с партией, отгрузка первого декабря машиной Фариды до Сосновки, два ящика сверху — на замену, если будет брак по приёмке.

— Два ящика мало, — сказала я.

— Два ящика — это тысяча луковиц, Лена. Два процента. У меня брак — полпроцента. Если будет больше — звони, разберёмся по фото. — Он отдал мне бумагу. — И не держи их в сенях. Пятьдесят тысяч — это не «ЗИЛ». Это камера.

— Я знаю.

— Знаешь, а камеры у тебя нет. У тебя сосед с рефами, я знаю твою улицу. Договорись с ним до первого числа, иначе я привезу тебе сто ящиков, и они проснутся у тебя во дворе.

* * *

С камерой я тянула до понедельника. Не потому, что не знала, что делать, — потому что знала и не хотела.

В понедельник утром я дошла по улице до ворот базы, нашла Берестова в боксе под поднятым кузовом «Валдая», где он что-то делал с ремнями на холодильной установке, и спросила снизу вверх:

— Сколько стоят сутки в вашей камере?

Он не вылез. Голос шёл из-под кузова.

— Смотря что хранить.

— Луковицы. Сто ящиков по пятьсот. Плюс пять градусов, влажность семьдесят, с первого декабря до конца января, с двадцатого — частями на вынос, по мере наколки.

Под кузовом молчали дольше, чем я ожидала. Потом он вылез, вытер руки о ветошь и посмотрел на меня — сверил, как показания.

— У меня там рыба. Молочка на перевалке. Я не держу в камере два месяца чужой груз, у меня оборот.

— Я понимаю. Поэтому спрашиваю цену, а не прошу об одолжении.

— Цены нет. Камера одна, она моя, она рабочая. — Он бросил ветошь на верстак. — Приходите первого числа с ящиками, посмотрим, сколько влезет, и сколько это будет стоить, я скажу тогда. Не раньше.

— Мне нужно знать раньше. У меня бюджет.

— У вас бюджет, у меня рыба. — Он повернулся к кузову, потом обратно. — Температуру кто будет писать? Вы?

— Я. Утром и вечером. В тетрадь.

— У меня в камере датчик, он пишет сам. Если ваша тетрадь с ним разойдётся — будем разбираться в тот же день, у меня там рыба рядом.

— Договорились, — сказала я и услышала, как это слово звучит в его дворе из моего рта. Он услышал тоже. Ничего не сказал — залез обратно под кузов.

* * *

Алла позвонила двадцать пятого, в среду, в половине седьмого вечера, когда мы с Галиной Аркадьевной ужинали, и я вышла с телефоном на веранду, потому что по первому её слову поняла, что это не про НДС.

— Подал, — сказала она. — Сегодня. Мне позвонила Света из канцелярии Ленинского, она у меня стажировалась, — увидела фамилию и поняла, что это твои. Не иск об оспаривании дарения, умный мальчик: при живой дарительнице, которая в здравом уме ест борщ и говорит «я так решила», у него с таким иском шансов почти нет, и он это понял. Он подал заявление о признании матери недееспособной. Двести восемьдесят первая ГПК, дети имеют право. И письмо в опеку. И, я думаю, в прокуратуру — что бывшая невестка мошенническим путём завладела половиной дома престарелой женщины с деменцией.

— У неё нет деменции.

— У неё в сентябре был гипертонический криз, два дня в больнице, и возил её туда Игорь. Справка у него. Криз — не психиатрия, но суд запросит документы, и если решит, что данных достаточно, назначит экспертизу. Какую — заранее не скажу, по таким делам обычно амбулаторная. И опека может прийти домой смотреть, как она живёт и кто её «манипулирует».

Я стояла на веранде и смотрела через забор на базу, где горел прожектор и где человек, который сегодня утром не назвал мне цену, грузил что-то в «Газель» вместе с Витей. Сентябрь. Я помнила этот криз. Я тогда была на собеседовании в садовом центре, и Игорь позвонил и сказал: «С мамой всё нормально, я отвёз, не дёргайся». И я не дёргалась. Два дня. Он не дал мне даже её навестить — «ей покой нужен, Лен».

— Что делать?

— Сбирать её медицинские документы: карту, выписку, что принимает. Я приеду в четверг, расскажу, как это обычно идёт. Вопрос не в том, здорова ли она, а в том, сколько нервов это стоит шестидесятидевятилетней женщине и сколько месяцев. И вот ещё что. Если опека придёт, то без предупреждения. Убери из дома всё, что выглядит как «невестка командует»: свои бумаги со стола, свои вещи из её комнаты. Пусть видят, что хозяйка — она.

Я вернулась в дом. Галина Аркадьевна доедала борщ и смотрела на меня поверх ложки.

— Игорь, — сказала она.

— Игорь. Заявление о признании вас недееспособной. Подал сегодня.

Она доела. Положила ложку. Вытерла рот салфеткой, аккуратно, в два движения.

— В сентябре, — сказала она. — Криз. Он сидел у моей кровати и спрашивал, помню ли я, какой год. Я думала, он волнуется. — Она встала и взяла со стола тетрадь. — Дано: сын, справка и двести восемьдесят первая статья. Найти: сколько семёрок надо вычестить из ста, чтобы его устроило. Садись, Лена. Будем вычитать.

Глава 5

Заявление на ИП я отправила в среду, за двадцать минут, сидя на табурете в сених.

Алла сказала: только ИП, самозанятой нельзя — лимит два миллиона четыреста в год, а если всё получится, я в него не влезу, и работников самозанятым нанимать нельзя, а Серёга — работник. Я открыла приложение банка, нажала «зарегистрировать бизнес», сфотографировала паспорт, выбрала «упрощёнка, шесть процентов с доходов» и код деятельности, который приложение само подсказало по слову «цветы»: выращивание однолетних культур. Подписала электронной подписью — приложение само провело меня через подтверждение личности и выпустило её за несколько минут. Пошлины не было. Лист записи, написали, придёт через три рабочих дня.

Двадцать лет назад для этого надо было взять отгул, отстоять очередь в налоговой и поругаться с женщиной в окошке. Теперь я сидела в сених в куртке Игоря, и лампочка жужжала, и всё.

— Ну? — спросила Галина Аркадьевна из комнаты.

* * *

— В понедельник буду предприниматель.

— Поздравляю заранее. Чайник поставь, будущий предприниматель.

В четверг приезжала Алла: привезла список документов, которые надо собрать на Галину Аркадьевну — карту из поликлиники, выписку за сентябрь, рецепты, — и за час объяснила, как обычно идёт такое дело и чего ждать от опеки, если придёт. Опека, по её словам, приходила без предупреждения, и к пятнице я убрала со стола свою тетрадь и ноутбук: пусть видят кухню хозяйки, а не контору.

Гости пришли в пятницу, в одиннадцать. У калитки остановилась белая «Лада» с надписью «Администрация» на двери, и из неё вышел молодой человек в пуховике с планшетом, а из-за угла, как будто случайно проходила мимо, появилась Нина Сергеевна в пуховом платке.

Молодой человек в дом не заходил. Он представился — муниципальный земельный контроль, ведущий специалист, фамилию я не запомнила, — и сказал, что по обращению граждан проводится выездное обследование без взаимодействия с правообладателем: он посмотрит с улицы, сфотографирует и уедет, от нас ничего не нужно.

— Обследование чего? — спросила я через калитку.

— Соблюдения вида разрешённого использования. Поступил сигнал о ведении предпринимательской деятельности на землях ИЖС. Теплица, — он сверился с планшетом, — промышленного типа.

— Теплица стоит двадцать лет. В ней выращивали огурцы для семьи.

— Я фиксирую, что вижу с улицы. Внутри я не пойду. — Он поднял планшет и сфотографировал теплицу через забор, потом сарай, потом почему-то поленницу. — Если увижу признаки нарушения — выйдет предостережение. Это не штраф. Это документ.

— Обращение граждан — это она? — Я посмотрела на Нину Сергеевну, которая стояла у своего забора и внимательно изучала сосну.

— Я не вправе раскрывать.

— Я ни при чём, Леночка, — сказала Нина Сергеевна сосне. — Меня попросили просто сказать, как есть. Я и сказала, как есть: теплица большая, машины ездят, фура гудит ночью. Я же для всех стараюсь. У нас улица тихая была.

За моей спиной скрипнула дверь. Галина Аркадьевна вышла на крыльцо в кофте, без пальто, и сказала не мне и не инспектору:

— Нина. Ты у меня в восьмидесятом брала в долг на холодильник и отдавала три года. Я не напоминала ни разу. Я и сейчас не напоминаю. Я просто спрашиваю: кто попросил?

Нина Сергеевна оторвалась от сосны и ушла за угол, не ответив. Инспектор дописал что-то в планшете.

И тут открылись ворота базы.

Берестов вышел на улицу — не к нам, к своим воротам, — с рулеткой в руке, и начал мерить расстояние от угла своего забора до дороги. Вслух. «Три двадцать. По норме — три. Запишите, молодой человек, пока вы здесь: у меня отступ с запасом, а вот у администрации столб стоит на моей земле на сорок сантиметров, я писал дважды». Инспектор повернулся к нему. Берестов продолжал мерить. Через пять минут инспектор уже стоял у его столба с планшетом и фотографировал столб, а Берестов объяснял ему про охранную зону, и про нас оба забыли.

Когда «Лада» уехала, он смотал рулетку и пошёл к себе, не взглянув в нашу сторону.

— Спасибо, — сказала я ему в спину через улицу.

— За что? У меня столб на участке. Третий год.

* * *

Предостережение упало Галине Аркадьевне в личный кабинет на Госуслугах уже в понедельник. Алла прочитала его с экрана за минуту: «рекомендуем», «в случае выявления». Ни штрафа, ни срока.

— Бумажка, — сказала она. — Но она ляжет в папку. Игорь собирает папку, Лена: жалоба соседей, предостережение, справка о кризе. Каждая по отдельности — ничего. Вместе — картина. Теплицу не трогай, землю до суда не трогай, работай.

* * *

«Шкоду» купил мужчина лет пятидесяти, учитель физкультуры из соседнего района, который приехал в субботу днём с сыном и китайским толщиномером, обошёл машину по кругу, прикладывая прибор к каждой двери, проверил VIN через приложение, посмотрел сервисную книжку, спросил про зимнюю резину и сказал: «Беру. Пятьсот шестьдесят, как договаривались».

Договор мы подписали на капоте, в двух экземплярах, его ручкой. Деньги он перевёл через быстрые платежи, двумя переводами с двух своих банков, и я смотрела на экран телефона, как цифра на счету становится больше, чем была у меня когда-либо в жизни, и ничего при этом не чувствовала, потому что цифра была не моя. Она была Фарида. Шестьсот двадцать пять тысяч я переведу ему в понедельник, тридцатого, последним днём, как написано на обороте прайса.

Он сел за руль. Сын — рядом. И перед тем как тронуться, он поднял руку к зеркалу заднего вида, снял оттуда то, что там висело, и протянул мне в окно:

— Это ваше, наверное.

Это была сова. Фетровая, серая, с кривым глазом, на шнурке. Даша сшила её в первом классе на труде и повесила мне на зеркало, когда я купила эту машину, и сказала: «Чтобы ты не засыпала за рулём, мам, совы ночью не спят». Двенадцать лет назад. Я забыла про неё — вещи, которые висят двенадцать лет, перестаёшь видеть, и глаз у неё за это время выплел.

Я взяла сову. Сказала «спасибо». Машина выехала за ворота — моя машина, с чужим человеком за рулём и чужим мальчиком на моём месте, — и повернула к шоссе.

Я дошла до гаража, где стояла зимняя резина, которую он не стал брать, потому что у него «своя ешь», и которую теперь надо было продать отдельно, вошла, закрыла за собой дверь и села на покрывало.

И заревела.

Сова одиннадцать лет висела у меня перед глазами, и я её не видела, а чужой человек увидел за десять минут. У меня теперь не было машины, а был счёт, и счёт был Фарида. Даша сказала «ты же сама его запустила», а я стёрла ответ. Два года собеседований с мальчиками. Сентябрь, когда Галина Аркадьевна лежала с кризом, а мне сказали «не дёргайся», и я не дёргалась. Всё это я две недели складывала в столбик и считала, чтобы не реветь, и столбик кончился.

Я редела минут десять, громко, в гараже, где меня никто не слышал, кроме резины и бочки с солярой. Потом вытерла лицо рукавом, посидела ещё минуту и положила сову в карман.

Когда я вышла, у калитки стояла Валя, Серёгина мать, — она и назавтра, в воскресенье, пришла первой узнать, берут ли её сына, — с телефоном в руке; скрывать Валя не умела ничего. — Лен. Ты это видела?

Она протянула телефон. На экране была сторис: белая студия, свет, высокая женщина лет тридцати в бежевом свитере с распущенными волосами держит охапку тюльпанов — жёлтых, тугих, в бутоне, голландских, я узнала сорт с трёх метров. Поверх — надпись красивым шрифтом: «*Krista Flowers. Голландские тюльпаны к 8 Марта. Опи и розница. Предзаказ открыт*».

— Это она? — спросила Валя. — Та самая?

Я посмотрела на тюльпаны. На свет. На бежевый свитер, который в теплице не прожил бы и часа.

— Та самая, — сказала я. — Свитер дурацкий.

Валя ждала. Я посмотрела ещё раз — на то, как она их держала: правильно, под бутоны, не за стебли.

— И тюльпаны у неё хорошие, — сказала я, потому что это тоже была правда, и мне она не нравилась.

* * *

Серёгу я нашла в воскресенье утром у его калитки, где он курил, глядя на снег, и видно было, что идти ему в воскресенье утром некуда. Двадцать четыре года, руки в старых ожогах от сварки, куртка с надписью СТО, которого уже не было.

— Сорок тысяч в месяц на руки, с декабря по март, — сказала я. — Сварить столы в теплице под лотки, развести воду, таскать мешки с пеллетами, накалывать луковицы, срезать, грузить. Работа каждый день, в мороз, иногда ночью. По трудовому договору, на сезон: Алла сказала, что ежедневную работу самозанятостью не прикроешь, переквалифицируют. Взносы — мои.

Он докурив.

— А если не получится?

— Что именно?

— Ну. Тюльпаны ваши.

— Тогда ты получишь сорок тысяч в месяц за четыре месяца работы, а я — пятьдесят тысяч стеблей в компост. Сорок заплачу и без урожая.

Он посмотрел на теплицу за моей спиной. Потом на базу.

— Берестов знает?

— При чём здесь Берестов?

— Он мне в сентябре работу предлагал. Механиком. Я отказался — не хотел на дядю.
— Серёга бросил окуроч в снег. — Нормально. Щас приложение поставлю.

Договор я написала вечером по образцу из интернета, Алла поправила по телефону три пункта, и в понедельник он его подписал на капоте «Нивы». Так у меня появился первый работник.

* * *

В понедельник вечером, когда я несла из сарая мешок для пробной растопки, Берестов окликнул меня через забор — первый раз за семь лет заговорил со мной через забор первым.

— Котёл когда запускаете?

— В декабре. Надо сначала посмотреть.

— Витя посмотрит. Он на пеллетниках десять лет, у меня в боксе такой же стоит. Две тысячи за выезд, запчасти — отдельно, по тарифу. До морозов. В январе он к вам по сугробам не полезет.

— Договорились, — сказала я, и он кивнул и ушёл, и только у крыльца я сообразила, что «по тарифу» он сказал раньше меня, как будто знал, что я не возьму иначе.

Глава 6

Луковицы приехали первого декабря, во вторник, в половине девятого утра, на фаридовском «Хёндае» с будкой, и водитель — молчаливый парень в оранжевом жилете — открыл задние двери, и на меня дохнуло холодом и тем запахом, который я бы узнала с закрытыми глазами: сухая шелуха, картон и чуть-чуть земли. Сто два ящика. Пластиковые, сетчатые, голландские, с бирками по торцу: сорт, разбор, дата, партия, — и в папке у водителя, поверх накладной, лист с синим штампом карантинного контроля, который я видела у Фариды каждый год и никогда не читала.

Серёга вышел к машине в восемь сорок, в первый свой рабочий день, посмотрел на ящики до крышки будки и сказал:

— Я думал, вы про пятьдесят тысяч для красного словца.

— Для красного словца я бы сказала сто.

За забором напротив мелькнул пуховый платок Нины Сергеевны. Она считала ящики через штакетник, шевеля губами, и я помахала ей рукой, и она ушла.

Я пересчитала ящики с водителем, сверила бирки с накладной и пошла вдоль штабеля с ножом. Расписываться — потом.

Ящики сошлись. Теперь надо было проверить сами луковицы: открыть каждый ящик, провести пальцами по верхнему ряду — нет ли мягких и налёта, — а из каждого десятого взять луковицу и разрезать вдоль. Я резала на крышке ящика, на холоде, без перчаток, потому что в перчатках не чувствуешь, где донце, и смотрела в разрез через лупу, которую носила в кармане с комбината. Луковица разбора двенадцать плюс в разрезе — как маленькая белая капуста, и в середине виден зачаток: будущий цветок, уже сформированный, со всеми лепестками, сложенными внутрь. Он закладывается ещё летом, до всякого холода; холод я проверю по журналу. Нож показывает другое: не побурел ли зачаток, не пророс ли раньше времени, нет ли гнили внутри. Если зачаток бурый — луковица слепая, и никакое тепло её не спасёт.

Первые девять были в порядке. Десятая — тоже. Я резала и складывала половинки на крышку, рядом. Водитель следил за ножом и после каждого разреза переводил взгляд на оставшиеся ящики.

— Фарид сказал, вы будете резать, — сказал он наконец.

— Фарид меня знает.

В тридцать четвёртом ящике, Пёрпл Принс, я нашла то, что искала и не хотела найти: три луковицы с мягким донцем, одна с налётом. Я отставила ящик, перебрала его весь на крышке соседнего — из пятисот мягких оказалось одиннадцать, два процента с лишним, вчетверо больше, чем обещал Фарид, — сфотографировала, отправила ему и написала: «Ящик 34, Пёрпл, одиннадцать мягких. Минус или замена?» Он ответил через минуту: «Минус. Добери из резервных, они твои. Остальные перебери, скажешь общий». Я расписалась за сто два ящика и написала в накладной: ящик 34 — одиннадцать брак, акт. Общий отход я узнаю, когда переберу все, и запишу его в тетрадь, а не в голову.

Выгрузку температур Фарид прислал по партиям — четыре файла, по сорту, и программу от голландского технолога: пять градусов с пятнадцатого октября, без провалов, кроме одного дня в ноябре, когда у них на складе было семь. Про этот день я написала технологу через Фариду и получила ответ: допустимо, в сроках не учитывать. Я переписала даты в свою тетрадь и посчитала по программе, сколько холода каждому сорту ещё добирать до наколки.

Галина Аркадьевна вышла на крыльцо в пуховике, посмотрела на штабель и спросила:

— Это всё?

— Это всё.

— Миллион двести. В пластиковых ящиках. Стоит во дворе. — Она спустилась, подошла к крышке, где лежали рядом мои половинки, взяла одну, поднесла к очкам и долго разглядывала белый зачаток с лепестками внутри. — Значит, вот так выглядит то, за что мы отдали твою машину и мой вклад. — Она положила половинку обратно, ровно в ряд. — Красиво. Я запишу.

* * *

Через калитку сто ящиков не пронесёшь. Калитки в заборе между нами и базой не было с тех пор, как Николай Иванович её снял и зашил проём досками, — Галина Аркадьевна всегда говорила «из-за собаки», но собаки у Берестова не было, и в то утро, пока Витя подгонял рохлю, я спросила у неё ещё раз.

— Не было собаки, — сказала она. — Был водоотвод. Весной девятнадцатого вода с его двора пошла по канаве вдоль нашего забора, Николай сказал, что канаву надо чистить с его стороны, он сказал, что с нашей. Оба инженеры. Два месяца не разговаривали, потом Николай снял калитку с петель и зашил проём досками, в тон забору, чтобы и места не найти, а этот из принципа не попросил открыть. Так и стоит. Канаву, кстати, он почистил. В тот же год. Со своей стороны.

Поэтому мы возили их улицей: водитель подогнал «Хёндай» к воротам базы, и там уже ждал Витя с рохлей, и Берестов стоял в проёме бокса с рулеткой, как в тот раз у столба, и смотрел на меня, а не на ящики.

— Камера четыре на шесть, — сказал он. — Высота два сорок. Рыба — у дальней стенки, два ряда, её не трогать. Вам — стеллаж вдоль левой стены, четыре яруса, глубина шестьдесят, я вчера померил ваши ящики по накладной: влезет сто двадцать, с зазором между рядами. Режим плюс пять, влажность — сколько есть, у меня стоит семьдесят пять. Тариф я вчера написал, вы читали. Подходит?

Он написал его вчера вечером на листке и передал через Серёгу: двенадцать тысяч в месяц, свет внутри, декабрь и январь — двадцать четыре. Для меня это было дорого. И дешевле, чем всё, что я находила по объявлениям за месяц, потому что по объявлениям камеры сдавали от ста кубов и от полугода.

— Подходит, — сказала я.

— Тогда грузимся. Витя, рохлю.

Камера была сразу за боксом — железная дверь с рычагом, за ней холод, ровный, сухой, и свет люминесцентный, и запах рыбы, не сильный. Температура на табло у двери — пять и две. Я вошла первой, и дверь за мной хлопнула. Я стояла одна в чужом холоде между стеллажами, пока снаружи Витя и водитель скатывали первый поддон, и думала: десять лет мои луковицы лежали в «ЗИЛе» и на веранде, я проверяла их рукой, и этого хватало. Теперь между мной и ними будет железная дверь с рычагом и табло.

Дверь открылась. Берестов вкатил поддон, оглядел мою куртку — тонкую, осеннюю, потому что зимняя была в стирке после сарая, — и снял с себя жилетку. Рабочую, серую, с карманами, на синтепоне.

— Наденьте. Два часа при пяти в осенней — потом неделю чихать, а у вас наколка.

— Мне не холодно.

— Пока. Наденьте.

Я надела. Жилетка была тёплая изнутри — он только что её снял — и пахла соляжкой и чем-то ещё, что я не стала определять. Молния заела на середине: пальцы после ножа на морозе не слушались, и я дёргала бегунок вниз-вверх, как дёргают то, что не поддаётся. Он поставил ящик, подошёл, взял бегунок двумя пальцами у моих рук — ладони у него были горячие после рохли — и провёл вверх, до воротника, в двадцати сантиметрах от моего подбородка.

— Под углом надо. Собачка заедает.

И сразу отвернулся к поддону. Рукава моей куртки торчали из пройм. Он на это не посмотрел.

Мы ставили ящики два часа. Витя подавал с рохли, я принимала и ставила по сортам, по тридцать на ярус, не вплотную, с просветом в ладонь между рядами, и на каждом ярусе клеила скотчем бумажку с сортом и датой начала холода. Берестов возил поддоны и молчал. Один раз, когда я потянулась к верхнему ярусу с ящиком и не достала, он взял ящик у меня из рук и поставил сам, и я сказала «я сама», а он сказал «знаю» и пошёл за следующим.

В конце он достал из кармана брюк блокнот — не тетрадь, маленький, в клеёнчатой обложке — и ручку.

— Сорт, количество, ярус. Диктуйте.

Я продиктовала. Он записал, потом вырвал лист и отдал мне.

— Это ваше. У меня копия в голове. Вот датчик, про который я говорил, — он показал на белую коробочку под потолком. — Пишет каждые десять минут, я смотрю с телефона.

— Под потолком, — сказала я. — А луковицы на полках. Мне нужен градусник у ящиков, и я буду смотреть его сама, утром и вечером, и писать.

Он подумал.

— Повесьте свой. Пишите. Если с моим разойдётся больше чем на градус — скажите мне в тот же день, не завтра.

— Договорились.

— И ещё. — Он убрал блокнот. — Сколько у вас волн?

— Три. И пробная.

— Пробную вы колете когда?

— Восьмого января.

— И ставите укореняться где?

Я открыла рот и закрыла.

Я считала укоренение. Я считала его по волнам, по двести с лишним лотков на волну, и думала, что камера возьмёт волну, если убрать рыбу, и что волны пойдут одна за другой. Но они пойдут не одна за другой. Между наколками — четыре дня, а укоренение — две недели: двадцать восьмого января в холоде будут стоять все три волны разом, шестьсот лотков, в один слой, с просветом, с водой, которая касается донца. Шестьсот лотков — это сто сорок квадратных метров полок. Это четыре такие камеры. Я отвела каждой волне место отдельно, а двадцать восьмого они все попадали в холод одновременно.

— Об этом вы не подумали, — сказал Берестов. Утвердительно.

— Подумала. Неправильно.

Он кивнул и посмотрел на часы.

— Витя, закрывай. — И мне: — Посчитайте по волнам, с датами, сколько и где должно стоять. Завтра к семи принесёте тетрадь — посмотрим, куда ставить.

* * *

Домой я шла в его жилетке, потому что забыла её снять, а он не напомнил.

Галина Аркадьевна сидела за столом с тетрадью и подняла голову, когда я вошла. Посмотрела на жилетку. Не спросила. Встала, налила из кастрюли суп, поставила передо мной и сказала:

— Сначала ешь. Потом что у тебя там. У меня Николай тоже, когда ошибался в расчётах, забывал ужинать, и я его кормила насильно.

— Откуда вы знаете, что я ошиблась?

— Ты пришла в чужой жилетке и не сняла её в сенях. — Она села. — Ящики стоят?

— Стоят. Двенадцать тысяч в месяц.

— Терпимо. Что ещё? У тебя лицо, как у Игоря в десятом классе, когда он понял, что решал задачу не из того варианта.

Я села напротив и рассказала. Про лотки, про просвет, про двести лотков, которые не влезут ни в какую камеру, и про то, что я десять лет считала пятьдесят как десять по пять. Галина Аркадьевна слушала, не перебивая, и когда я закончила, сказала:

— Хорошо.

— Что хорошо?

— Что ты это поняла первого декабря, а не восьмого января. Первого декабря это стоит бессонной ночи. Восьмого января это стоило бы семнадцати тысяч луковиц. — Она пододвинула мне чистый лист. — Считай. Объём, даты, волны. Я посижу.

Я ела, потом считала до одиннадцати и к одиннадцати знала, что никакая камера мне не поможет: сто сорок квадратов полок в холоде на десять дней не сдаёт никто. Зато у меня было двести квадратов столов в теплице, которую я собиралась греть до семнадцати, а можно было не всю. Можно было отгородить плёнкой большую часть — две трети, сто сорок квадратов из двухсот, — как я десять лет отгораживала тёплый торец, только наоборот: холодную половину держать на пяти-семи градусах, с одним приоткрытым контуром отопления, чтобы вода не замёрзла, и укоренять прямо на столах, в темноте под чёрной плёнкой, а по мере готовности переставлять лотки через перегородку в тёплую. Укоренившиеся лотки — за плёнку, в тепло, остальные пока здесь. Перегородку надо двигать — Серёга сварит её на роликах. Контур надо делить — кран на обратной. Темноту — агроспан, чёрный, рулон. «Холодной половиной» мы её потом так и звали, хотя на деле это были две трети, а к концу февраля — пять метров у торца.

Я написала это на листе под вопросом «вторая камера — где?» и подчеркнула слово «плёнка». В половине двенадцатого я подняла голову и увидела в окно, что в боксе на базе горит свет, и что кузов «Валдая», самого большого из трёх рефов, стоит открытый, и из него Витя вытаскивает последние ящики с рыбой и перекладывает на рохлю.

Зачем Берестов освобождает кузов в половине двенадцатого ночи, я не спрашивала себя — я посмотрела на свой лист со словом «вторая камера» и снова на освещённый бокс. Потом из будки вышел он сам, с рохлей, остановился и посмотрел через два двора и глухой забор на наше окно, где горел свет и где я стояла в его серой жилетке над листом. Секунду мы смотрели друг на друга. Потом он покати́л рохлю в бокс, а я села за стол, положила голову на руки поверх листа и уснула там, в жилетке, и проснулась в шесть от того, что Галина Аркадьевна накрыла меня пледом и выключила свет.

Глава 7

К семи я принесла расчёт. Он стоял у открытого кузова «Валдая» с кружкой и смотрел, как в будке работает установка: из решётки под потолком шёл холодный воздух, и на табло снаружи было четыре и восемь.

— Шестьсот лотков двадцать восьмого января, — сказала я вместо «здравствуйте». — Сто сорок квадратов полок. Это не влезет ни в камеру, ни в кузов, ни туда и туда вместе. Я буду укоренять в теплице, в холодной половине, под плёнкой: один контур на пять градусов, второй на семнадцать, перегородка на роликах. Мне от вас нужен кузов на две недели для пробной партии, с восьмого января, потому что перегородку мы поставим к двадцатому, и ещё — как резерв, если на пике не хватит столов. Сколько стоит сутки?

Он перевёл взгляд на кузов и обратно.

— Полторы тысячи в сутки, когда работает, с топливом и электричеством. Установка с обогревом: в минус тридцать она не морозит, а греет до плюс пяти, от сети, дизель — если сеть упадёт. Проверял под нагрузкой в прошлом году на рыбе. Простой — ноль. — Он посмотрел на мою тетрадь. — Вы считали, что перегородка вам даст по температуре? У вас одна теплица, один воздух.

— Считала. Плёнка — два слоя, воздушная прослойка, разница градусов десять держится, если контуры развести. Я так торец десять лет отгораживала. Наоборот — не пробовала. Пробную партию восьмого поставлю целиком в ваш кузов — перегородку Серёга к восьмому не доделает, к двадцатому. Сравню потом: пробную из кузова с первой волной из-за плёнки.

— Если за плёнкой выйдет хуже?

— Тогда приду к вам ещё раз. И уже по другой цене, я понимаю.

Он дважды стукнул костяшкой по борту кузова — я не поняла зачем — и достал клеёный блокнот. Написал: «Валдай, кузов, +5, с 7.01, 1 500/сут. с топливом. Резерв — по заявке за сутки». Показал мне.

— Я вчера освободил его под вас целиком. Под три волны.

— Я видела. Спасибо.

— Не за что. Рыба в декабре идёт плохо. — Он убрал блокнот и отпил из кружки, и я впервые видела, как он не знает, что сказать дальше. — Тетрадь.

Я дала ему тетрадь и сняла жилетку, чтобы отдать вместе с ней.

— Оставьте у себя, на крючке. Вам в камеру два раза в день, я за вами с жилеткой бегать не буду.

Я надела обратно. Он открыл на вчерашнем вечере: «1.12, 21:40, камера +5,2», — сверил с телефоном, где был график его датчика, кивнул и вернул.

— Пять и три по датчику. Сходится.

Так началась наша зима: в семь утра я приносила ему тетрадь, он сверял её с телефоном, говорил «сходится» и отдавал. Это я придумала — носить тетрадь, а не ждать, пока он спросит, — потому что не доверяла датчику под потолком и хотела, чтобы он знал, что не доверяю. К середине декабря на верстаке в боксе рядом с его кружкой стала появляться вторая, с чаем из термоса, и я грела об неё руки, пока он смотрел график в телефоне, и ни один из нас ни разу не сказал про эту кружку ни слова. Говорили мы о температуре, иногда о прогнозе. Больше ни о чём.

* * *

Витя пришёл смотреть котёл четвёртого, днём, как договаривались через забор. Разобрал, продул, посветил фонарём в щиток и сказал: «Плата. Угол подгорел, видите? Николай

Иванович её сам паял, царствие небесное, держалась. Новая — восемнадцать тысяч. Остальное посмотрю под нагрузкой, когда пеллеты будут, всухую котёл не слушают». Он взял две тысячи за выезд и ушёл, и я записала в тетрадь две строчки: «плата — 18 000» и «Витя — выезд 2 000».

Серёга варил столы шесть дней.

Старые столы — те, что стояли с отцовских времён, — годились только под огурцы: деревянные, с наклоном, под торф. Под лотки с водой нужна ровная горизонтальная поверхность, иначе раствор уйдёт к одному краю, и луковицы с этого края захлебнутся, а до тех, что с другого, вода не достанет. Серёга разобрал старые столешницы, оставил металлические ноги, сварил из профильной трубы рамы под уровень с частыми поперечинами и застелил их сеткой, чтобы снизу шёл воздух. Я ходила за ним с уровнем и проверяла каждую секцию в двух направлениях, а потом ставила на неё четыре лотка с водой и проверяла ещё раз, под грузом. На третий день он сказал: «Я сам», — и с тех пор я проверяла выборочно и ни разу не нашла прогиба. Вдоль прохода он поставил на ролики раму для перегородки — два слоя плёнки с прослойкой — и кран на обратке, чтобы делить контур.

Воду разводили от бака. Бак — кубовый, пластиковый, на поддоне на бетонном полу котельной, где теплее и где тонна воды никого не продавит; насос, трубы ПНД вдоль столов, краны на каждую секцию. Раствор считала по анализу воды: скважина у нас давала жёсткую, я возила бутылку в лабораторию при водоканале ещё в ноябре. Кальциевая селитра и немного кислоты, чтобы довести ЕС до одной и семи, а pH — к шести; огуречный рецепт я сюда не таскала, тюльпану на воде нужно другое. ЕС-метр и pH-метр приехали в пункт выдачи в бывшем сельмаге вместе с лотками, в двенадцати коробках, и женщина за стойкой выдала мне их без штрих-кода, потому что уже знала в лицо. Откалибровала по буферам в тот же вечер.

Лотки надо было мыть. Все пятьсот семьдесят пять новых и шестьдесят старых — шестьсот тридцать пять, с запасом на бой, — потому что на новых была заводская смазка, а на старых — прошлогодний налёт. Мыли в теплице, где было около нуля, в резиновых перчатках поверх вязаных, горячую воду носили из дома вёдрами: сначала просто водой со щёткой, потом в корыте со средством, которым на комбинате обрабатывали тару, по инструкции с банки — концентрация, выдержка, ополоснуть. Лотки стояли штабелями на просушку вдоль прохода, и Галина Аркадьевна выходила каждые полчаса, считала штабели и уходила. К субботе было вымыто всё.

Селитру привезли в мешках по двадцать пять, восемь мешков — двести килограммов, по расчёту на сезон с запасом в треть, — сгрузили у сарая, и я взялась носить их в сухой угол котельной сама, подальше от котла, потому что Серёга был на столах, а мне казалось, что двадцать пять килограммов — это двадцать пять килограммов, я их носила на комбинате. Четвёртый мешок я поставила и выпрямилась, и в пояснице щёлкнуло и не отпустило. Я села на этот же мешок. На комбинате я их носила в тридцать четыре. Сейчас мне было сорок четыре.

Серёга вышел из теплицы, увидел меня на мешке и четыре мешка у сарая и сказал:

— Я сам.

— Я могу.

— Можете. — Он закинул мешок на плечо. — Тогда я могу на столах перекося оставить. Чтобы по-честному.

Я осталась сидеть. Он перенёс четыре мешка за три минуты и вернулся к столам, не оглядываясь. Спина не отпустила ни к вечеру, ни на завтра: два дня я ходила боком, не могла наклониться к нижним лоткам и впервые попросила Галину Аркадьевну натереть мне поясницу, а Серёгу — делать за меня то, что я собиралась делать сама. Он делал. Я сидела на табурете у стола и говорила «левее», и первые полдня это было унижительно. Потом оказалось, что с табурета перекося видно лучше, чем стоя.

Назавтра в семь я принесла тетрадь на базу, с прихваченной поясницей, боком, — и он увидел это с порога бокса, раньше, чем я дошла до верстака.

— Мешки, — сказал он. Не спросил.

— Четыре.

— При сварщике во дворе.

— Он был на столах.

Он взял тетрадь, сверил, вернул. Злился он, как выяснилось, медленно: каждое слово отдельно. Он сказал, что у меня в теплице двести дней работы впереди и одна спина, что сварщик, который «на столах», снимается со столов на три минуты, что он сам пятнадцать лет грузит и знает, сколько стоит один неправильно поднятый мешок — полгода, — и что если я ещё раз подниму что-нибудь тяжелее лотка, он скажет Серёге, чтобы тот прятал от меня мешки, как прячут от детей спички. Сказал он всё это в телефон, в график, не поднимая глаз, и ушёл в бокс, не дожидаясь ответа. Меня отчитали, как практикантку на первой смене. Я допила чай из второй кружки, сполоснула её под краном и поставила на место. Злиться почему-то не получалось.

* * *

Огонёк в котельной я увидела в четверг ночью.

Я встала в три, потому что встала бы и так — считать, — и подошла к окну на кухне, откуда было видно теплицу и пристроенную к ней котельную. В окошке котельной горел зелёный огонёк. Маленький, ровный, на уровне щитка. Вечером его не было: котёл стоял холодный, мы его не запускали, и щиток был мёртвый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.